

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Л.Н.ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДВАДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

*Н. Н. АКОПОВОЙ, Н. К. ГУДЗНЯ,
Н. Н. ГУСЕВА, М. Б. ХРАПЧЕНКО*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1961

Л.Н.ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1857—1863 гг.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1961

Примечания
В. Я. ЛАКШИНА

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА.
ЛЮЦЕРН

8 июля

Вчера вечером я приехал в Люцерн и остановился в лучшей здешней гостинице, Швейцергофе.

«Люцерн, старинный кантональный город, лежащий на берегу озера четырех кантонов, — говорит Мургау, — одно из самых романтических местоположений Швейцарии; в нем скрещиваются три главные дороги; и только на час езды на пароходе находится гора Риги, с которой открывается один из самых великолепных видов в мире».

Справедливо или нет, другие гиды говорят то же, и потому путешественников всех наций, и в особенности англичан, в Люцерне — бездна.

Великолепный пятиэтажный дом Швейцергофа построен недавно на набережной, над самым озером, на том самом месте, где в старину был деревянный, крытый, извилистый мост, с часовнями на углах и образами на стропилах. Теперь благодаря огромному наезду англичан, их потребностям, их вкусу и их деньгам старый мост сломали и на его месте сделали цокольную, прямую, как палка, набережную; на набережной построили прямые четвероугольные пятиэтажные дома; а перед домами в два ряда посадили липки, поставили подпорки, а между липками, как водится, зеленые лавочки. Это — гулянье; и тут взад и вперед ходят англичанки в швей-

царских соломенных шляпах и англичане в прочных и удобных одеждах и радуются своему произведению. Может быть, что эти набережные, и дома, и липки, и англичане очень хорошо где-нибудь, — но только не здесь, среди этой странно величавой и вместе с тем невыразимо гармонической и мягкой природы.

Когда я вошел наверх в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня. Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг переполнившего мою душу. Мне захотелось в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное.

Был седьмой час вечера. Целый день шел дождь, и теперь разгуливалось. Голубое, как горящая сера, озеро, с точками лодок и их пропадающими следами, неподвижно, гладко, как будто выпукло расстилалось перед окнами между разнообразными зелеными берегами, уходило вперед, сжимаясь между двумя громадными уступами, и, темнея, упиралось и исчезало в нагроможденных друг на друге долинах, горах, облаках и льдинах. На первом плане мокрые светло-зеленые разбегающиеся берега с тростником, лугами, садами и дачами; далее темно-зеленые поросшие уступы с развалинами замков; на дне скомканная бело-лиловая горная даль с причудливыми скалистыми и бело-матовыми снеговыми вершинами; и все залитое нежной, прозрачной лазурью воздуха и освещенное прорвавшимися с разорванного неба жаркими лучами заката. Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. И тут, среди неопределенной, запутанной свободной красоты, перед самым моим окном, глупо, фокусно торчала белая палка набережной, липки с подпорками и зеленые лавочки — бедные, пошлые людские произведения, не уто-

нувшие так, как дальние дачи и развалины, в общей гармонии красоты, а, напротив, грубо противоречащие ей. Беспрестанно, невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом; но набережная с гуляющими англичанами оставалась на месте, и я невольно старался найти точку зрения, с которой бы мне ее было не видно. Я выучился смотреть так, и до обеда один сам с собою наслаждался тем неполным, но тем слаще томительным чувством, которое испытываешь при одиноком созерцании красоты природы.

В половине восьмого меня позвали обедать. В большой великолепно убранной комнате, в нижнем этаже, были накрыты два длинные стола, по крайней мере человек на сто. Минуты три продолжалось молчаливое движение сбора гостей: шуршанье женских платьев, легкие шаги, тихие переговоры с учтивейшими и изящнейшими кельнерами; и все приборы были заняты мужчинами и дамами, весьма красиво, даже богато и вообще необыкновенно чисто и плотно одетыми. Как вообще в Швейцарии, большая часть гостей — англичане, и потому главные черты общего стола — строгое, законом признанное приличие, несообщительность, основанные не на гордости, но на отсутствии потребности сближения, и одинокое довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей. Со всех сторон блещат белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки. Но лица, из которых многие очень красивы, выражают только сознание собственного благосостояния и совершенное отсутствие внимания ко всему окружающему, что не прямо относится к собственной особе, и белейшие руки с перстнями и в митенях движутся только для поправления воротничков, разрезывания говядины и наливания вина в стаканы: никакое душевное волнение не отражается в их движениях. Семейства изредка тихим голосом перекидываются словами о приятном вкусе такого-то кушанья или вина и красивом виде с горы Риги. Одинокие путешественники и путешественницы одиноко, молча, сидят рядом, даже не глядя друг на друга. Если изредка из

этих ста человек два разговаривают между собою, то наверно о погоде и восхождении на гору Риги. Ножи и вилки чуть слышно двигаются по тарелкам, кушанье берется понемногу, горошек и овощи едятся непременно вилкой; кельнеры, невольно подчиняясь общей молчаливости, шепотом спрашивают о том, какого вина прикажете? На таких обедах мне всегда становится тяжело, неприятно и под конец грустно. Мне все кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «Отдохни, мой любезный!» — в то время как в жилах бьется молодая кровь и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства подавленности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно; все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, не думаю, даже не наблюдаю. Сначала я пробовал заговаривать с соседями; но, кроме фраз, которые, очевидно, повторялись в стотысячный раз на том же месте и в стотысячный раз тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди не глупые же и не бесчувственные, а, наверное, у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни, наслаждения друг с другом, наслаждения человеком?

То ли дело, бывало, в нашем парижском пансионе, где мы, двадцать человек самых разнообразных наций, профессий и характеров, под влиянием французской общительности, сходились к общему столу, как на забаву. Там сейчас, с одного конца стола на другой, разговор, пересыпанный шуточками и каламбурами, хотя часто и на ломаном языке, становился общим. Там всякий, не заботясь о том, как выйдет, болтал, что приходило в голову; там у нас были свой философ, свой спорщик, свой *bel esprit*¹, свой пластрон², все было общее. Там, тотчас после обеда, мы отодвигали стол и, в такт ли, не в такт

¹ остроумец (франц.).

² предмет насмешек (от франц. *plastron*).

ли, принимались по пыльному ковру танцевать *la polka*¹ до самого вечера. Там мы были хоть и кокетливые, не очень умные и почтенные люди, но мы были люди. И испанская графиня с романическими приключениями, и итальянский аббат, декламировавший «Божественную комедию» после обеда, и американский доктор, имевший вход в Тюльери, и юный драматург с длинными волосами, и пьянистка, сочинившая, по собственным словам, лучшую польку в мире, и несчастная красавица вдова с тремя перстнями на каждом пальце, — мы все по-человечески, хотя поверхностно, но приязненно относились друг к другу и унесли друг от друга кто легкие, а кто искренние сердечные воспоминания. За английскими же *table d'hôte* ами² я часто думаю, глядя на все эти кружева, ленты, перстни, помаженные волосы и шелковые платья: сколько бы живых женщин были счастливы и сделали бы других счастливыми этими нарядами. Странно подумать, сколько тут друзей и любовников, самых счастливых друзей и любовников, сидят рядом, может быть не зная этого. И бог знает, отчего никогда не узнают этого и никогда не дадут друг другу того счастья, которое так легко могут дать и которого им так хочется.

Мне сделалось грустно, как всегда после таких обедов, и, не доев десерта, в самом невеселом расположении духа, я пошел шляться по городу. Узенькие грязные улицы без освещения, запираемые лавки, встречи с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой или, в шляпках, по стенам, оглядываясь, шмыгающими по переулкам, не только не разогнали, но еще усилили мое грустное расположение духа. В улицах уж было совсем темно, когда я, не оглядываясь кругом себя, без всякой мысли в голове, пошел к дому, надеясь ~~сном~~ избавиться от мрачного настроения духа. Мне становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжело, как это случается иногда без видимой причины при переездах на новое место.

¹ польку (франц.).

² общими обедами (франц.).

Я, глядя только себе под ноги, шел по набережной к Швейцергофу, как вдруг меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живоительно действовали на меня. Как будто яркий, веселый свет проник в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все окружающие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, вдруг, как новость, отраднo поразили меня. Я невольно в одно мгновение успел заметить и пасмурное, серыми кусками на темной синеве, небо, освещенное поднимающимся месяцем, и темно-зеленое гладкое озеро с отражающимися в нем огоньками, и вдали мгlistые горы, и крики лягушек из Фрёшенбурга, и росистый свежий свист перепелов с того берега. Прямо же передо мной, с того места, с которого слышались звуки и на которое преимущественно было устремлено мое внимание, я увидел в полумраке на середине улицы полукругом стеснившуюся толпу народа, а перед толпой, в некотором расстоянии, крошечного человека в черной одежде. Сзади толпы и человечка, на темном сером и синем разорванном небе, стройно отделялось несколько черных раин сада и величаво возвышались по обеим сторонам старинного собора два строгие шпица башен.

Я подходил ближе, звуки становились яснее. Я разбирал ясно дальние, сладко колеблющиеся в вечернем воздухе полные аккорды гитары и несколько голосов, которые, перебивая друг друга, не пели тему, а кое-где, выпевая самые выступающие места, давали ее чувствовать. Тема была что-то вроде милой и грациозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки, то слышался тенор, то бас, то горловая фистула с воркующими тирольскими переливами. Это была не песня, а легкий мастерской эскиз песни. Я не мог понять, что это такое; но это было прекрасно. Эти сладострастные слабые аккорды гитары, эта милая, легкая мелодия и эта одинокая фигурка черного человечка среди фантастической обстановки темного озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышающихся двух громадных шпицев башен и черных раин сада — все было странно, но невыразимо прекрасно, или показалось мне таким.

Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянья, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? — сказало мне невольно, — вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо...

Я подошел ближе. Маленький человечек был, как казалось, странствующий тиролец. Он стоял перед окнами гостиницы, выставив ножку, закинув кверху голову, и, бренча на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню. Я тотчас же почувствовал нежность к этому человеку и благодарность за тот переворот, который он произвел во мне. Певец, сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький черный сюртук, волосы у него были черные, короткие, и на голове была самая мешанская, простая старенькая фуражка. В одежде его ничего не было артистического, но лихая, детски веселая поза и движения с его крошечным ростом составляли трогательное и вместе забавное зрелище. В подъезде, окнах и балконах великолепно освещенной гостиницы стояли блестящие нарядами, широкоюбные барыни, господа с белейшими воротниками, швейцар и лакей в золотошитых ливреях; на улице, в полукруге толпы и дальше по бульвару, между липками, собрались и остановились изящно одетые кельнеры, повара в белейших колпаках и куртках, обнявшиеся девицы и гуляющие. Все, казалось, испытывали то же самое чувство, которое испытывал и я. Все молча стояли вокруг певца и внимательно слушали. Все было тихо, только в промежутках песни, где-то вдалеке, равномерно по воде, долетал звук молота и из Фрёшенбурга рассыпчатой трелью неслись голоса лягушек, перебиваемые влажным однозвучным свистом перепелов.

Маленький человечек в темноте среди улицы заливался, как соловей, куплет за куплетом и песня за песней.

Несмотря на то, что я подошел вплоть к нему, его пенье продолжало доставлять мне большое удовольствие. Небольшой голос его был чрезвычайно приятен, нежность же, вкус и чувство меры, с которыми он владел этим голосом, были необыкновенны и показывали в нем огромное природное дарование. Припев каждого куплета он всякий раз пел различно, и видно было, что все эти грациозные изменения свободно, мгновенно приходили ему.

В толпе, и наверху в Швейцергофе и внизу на бульваре, слышался часто одобрительный шепот и царствовало почтительное молчание. На балконах и в окнах все более и более прибавлялось нарядных, живописно в свете огней дома облокотившихся мужчин и женщин. Гуляющие останавливались, и в тени на набережной повсюду кучками около липок стояли мужчины и женщины. Около меня, куря сигары, стояли, несколько отделившись от всей толпы, аристократические лакей и повар. Повар сильно чувствовал прелесть музыки и при каждой высокой фистульной ноте восторженно-недоумевающе подмигивал всей головой лакею и толкал его локтем с выражением, говорившим: каково поет, а? Лакей, по распутившейся улыбке которого я замечал все им испытываемое удовольствие, на толчки повара отвечал пожиманием плеч, показывавшим, что его удивить довольно трудно и что он слышал многое получше этого.

В промежутке песни, когда певец прокашливался, я спросил у лакея, кто он такой и часто ли сюда приходит.

— Да в лето раза два приходит, — отвечал лакей, — он из Арговии. Так, нищенствует.

— А что, много их таких ходит? — спросил я.

— Да, да, — отвечал лакей, не поняв сразу того, о чем я спрашивал, но, разобрав уж потом мой вопрос, прибавил: — О нет! Здесь я только одного его выдаю. Больше нету.

В это время маленький человечек кончил первую песню, бойко перевернул гитару и сказал что-то про себя на своем немецком *patois*¹, чего я не мог понять, но что произвело хохот в окружающей толпе.

¹ местном, провинциальном наречии (франц.).

— Что это он говорит? — спросил я.

— Говорит, что горло пересохло, выпил бы вина, — перевел мне лакей, стоявший подле меня.

— А что, он, верно, любит пить?

— Да эти все люди такие, — отвечал лакей, улыбувшись и махнув на него рукою.

Певец снял фуражку и, размахнув гитарой, приблизился к дому. Закинув голову, он обратился к господам, стоявшим у окон и на балконах: «Messieurs et mesdames, — сказал он полуитальянским, полунемецким акцентом и с теми интонациями, с которыми фокусники обращаются к публике, — si vous croyez que je gagne quelque chose, vous vous trompez; je ne suis qu'un pauvre diable»¹. Он остановился, помолчал немного; но так как никто ему ничего не дал, он снова вскинул гитару и сказал: «A présent, messieurs et mesdames, je vous chanterai l'air du Righi»². Наверху публика молчала, но продолжала стоять в ожидании следующей песни, внизу в толпе засмеялись, должно быть тому, что он так странно выражался, и тому, что ему ничего не дали. Я дал ему несколько сантимов, он ловко перекинул их из руки в руку, засунул в карман жилета и, надев фуражку, снова начал петь грациозную милую тирольскую песенку, которую он называл l'air du Righi. Эта песня, которую он оставлял для заключения, была еще лучше всех прежних, и со всех сторон в увеличившейся толпе слышались звуки одобрения. Он кончил. Снова он размахнул гитарой, снял фуражку, выставил ее вперед себя, на два шага приблизился к окнам и снова сказал свою непонятную фразу: «Messieurs et mesdames, si vous croyez que je gagne quelque chose», — которую он, видно, считал очень ловкой и остроумной, но в голосе и движениях его я заметил теперь некоторую нерешительность и детскую робость, которые были особенно поразительны с его маленьким ростом. Элегантная публика все так же живописно в свете огней стояла на балконах и в окнах, блестя

¹ Милостивые государи и государыни, ежели вы думаете, что я что-нибудь зарабатываю, то вы ошибаетесь; я бедный малый (франц.).

² Теперь, милостивые государи и государыни, я спою вам песенку Риги (франц.).

богатыми одеждами; некоторые умеренно-приличным голосом разговаривали между собой, очевидно про певца, который с вытянутой рукой стоял перед ними, другие внимательно, с любопытством смотрели вниз на эту маленькую черную фигурку, на одном балконе слышался звучный и веселый смех молодой девушки. В толпе внизу громче и громче слышался говор и посмеиванье. Певец в третий раз повторил свою фразу, но еще слабейшим голосом, и даже не закончил ее и снова вытянул руку с фуражкой, но тотчас же и опустил ее. И во второй раз из этих сотни блестяще одетых людей, столпившихся слушать его, ни один не бросил ему копейки. Толпа безжалостно захохотала. Маленький певец, как мне показалось, сделался еще меньше, взял в другую руку гитару, поднял над головой фуражку и сказал: «Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit»¹, — и надел фуражку. Толпа загготала от радостного смеха. С балконов стали понемногу скрываться красивые мужчины и дамы, спокойно разговаривая между собою. На бульваре снова возобновилось гулянье. Молчаливая во время пения, улица снова оживилась, несколько человек только, не подходя к нему, смотрели издалека на певца и смеялись. Я слышал, как маленький человек что-то проговорил себе под нос, повернулся и, как будто сделавшись еще меньше, скорыми шагами пошел к городу. Веселые гуляки, смотревшие на него, все так же в некотором расстоянии следовали за ним и смеялись...

Я совсем растерялся, не понимал, что это все значит, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в темноту на удалявшегося крошечного человека, который, растягивая большие шаги, быстро шел к городу, и на смеющихся гуляк, которые следовали за ним. Мне сделалось больно, горько и, главное, стыдно за маленького человека, за толпу, за себя, как будто бы я просил денег, мне ничего не дали и надо мною смеялись. Я, тоже не оглядываясь, с защемленным сердцем, скорыми шагами пошел к себе домой на крыльцо Швейцергофа. Я не

¹ Милостивые государи и государыни, благодарю вас и желаю вам спокойной ночи (франц.).